

обозрение отдельных фактов повсеместного (столичного и провинциального, чиновничьего и простонародного, политического и обыденного) зла к вскрытию «зла», сокрытого в душе почти каждого. От внимания к персонально явленным трагическим «происшествиям» он двигался к пониманию метафизической природы трагизма пребывания человека в мире. Ужас выживания в его творчестве сменила со временем трагедия неоплатной и не несущей реальных плодов героической жертвенности. От утверждения в своей творческой молодости «правды жизни» Некрасов чем далее, тем более начинает смещаться к сокрушенному утверждению «правды смерти». От противопоставления логике жизни логики идеала поэт приходит к мужеству признания невозможности воплощения идеалов в жизнь. Он хотел бы еще надеяться, что эта беда свойственна лишь его времени, но допускает, что в этой безысходности нам может открываться самая суть бытия вообще, «потому что на сердце темней И в грядущем еще безнадежней».

В экзистенциальном локусе некрасовской проблематики (взаимообусловленно связанной, как мы помним, с планом проблематики метафизически-бытийной) господствуют метафизические координаты и экзистенциальные переживания «я» личности, воспринимающей себя в непосредственном сущностном взаимодействии с самим мироустройством. Их тональность у поэта, как мы могли убедиться, определяется трагическим пафосом и эмоцией страдания. Когда-то поэт имел отвагу преследовать и казнить человеческое ничтожество в любых его проявлениях. Позже он усомнился в его искребимости. К концу своего пути художника и мыслителя он принял мир (в том числе и в его «рутинно-пошлом» измерении) как абсолютную и неискоренимую данность.

Естественно, что позднейшее развитие этой проблематики отнюдь не может быть сведено даже к творчески «преображенному» *возвращению* поэта к представлениям и идеалам своей юности.<sup>45</sup> Прежде всего, духовная метафизика и поэтическая антропология никогда не исчезали из творческого мышления поэта. В известные моменты его поэтической биографии они могли сходиться с актуальной авансцены его литературного творчества, но в глубинах некрасовского художественного сознания продолжалась неостановимая духовная работа. И время от времени те произведения, в которых эта работа находила свое прямое воплощение, вдруг вспыхивали яркими звездами. Такие, например, стихотворения середины 1850-х годов, как «Несжатая полоса», «Последние элегии», «Наследство», «Безвестен я. Я вами не стяжал...», «Еще скончался честный человек...», «В больнице», «Демону», «Поэт и гражданин», «Внимая ужасам войны...», «Не знаю, как созданы люди другие...», суть не только свидетельство «прощальной» рефлексии полагающего себя уходящим из мира поэта, но и акт «предельных» органических его раздумий о субстанциональных отношениях личности и мироустройства в их антропологическом ракурсе. Позже важнейшим воплощением некрасовской «философии жизни» станут его «малые» и «большие» поэмы, да практически и вся зрелая лирика — от камерной до идеологической.

Зададимся, однако, вопросом: какое место в некрасовской «антропологии» занимает его «человек жизненной рутины»? Думается, теперь уже очевидно, что место это самое основательное. Мало того, что «рутинный человек» в антропологических построениях поэта последовательно реализует функцию всеобъемлющей «негатив-концепции», — в каждом из аспектов некрасовской проблематики он обнаруживает еще и свои специфические грани, причем зачастую в двух взаимодополняющих ипостасях.

<sup>45</sup> См.: Эйхенбаум Б. М. Некрасов. С. 361—362.